

Сразу прояснятся античные свидетельства о том, что Пифагора одновременно видели в двух разных городах. Это никакая не билокация, а просто два разных человека. А может быть, Чайковский уже об этом пишет? Если так, не буду мешать.

Вопрос о том, остаться ли нам при старых методах или перенять методику клонирования, предлагаемую Чайковским, каждый должен решить сам. Я выскажу свое мнение. Особой опасности для классической филологии и истории античности Чайковский не представляет, они благополучно пережили вторжение куда более мощных и привлекательных методов (марксизма, фрейдизма, структурализма, интертекстуальности и т. п.). Для человека, мало-мальски знающего предмет, и критика, и методика Чайковского саморазоблачительны и ни в каких дополнительных разъяснениях не нуждаются. Казалось бы, против них говорит и здравый смысл, на монопольное владение которым филология никогда не претендовала. Отчего же тогда *такой* специалист публикует *такие* статьи в *таких* журналах? Я имею в виду не критику в мой адрес, пусть и несправедливую, а полную некомпетентность Чайковского в вопросах, за которые он берется, беспомощность его «методы» и явную абсурдность его центральных выводов. Ведь я затронул далеко не все положения его статьи. И появление «естественных наук» и «политологии» во времена Гомера, и то, как Чайковский с помощью «большого словаря» толкует самого Гомера, и пассаж об акустическом эксперименте Гиппаса, давно вошедшем в учебники физики, но дерзко отвергаемом Чайковским³⁸, – все это и многое другое осветить не удалось. И все же ясно, что найди я в его статье не 150, а 1500 погрешностей против науки и здравого смысла, общая ее оценка не изменится: ниже единицы есть только ноль.

Чайковский не впервые демонстрирует агрессивную некомпетентность в оценке чужих работ по истории науки. В 1992 г. он обозрел четыре новые книги по истории биологии³⁹. Досталось при этом всем: российским и американским историкам, апологетам дарвинизма, редакторам, переводчикам, перестройщикам, защитникам природы и т.д. Читая этот обзор и сдержанный, но вполне определенный ответ на него⁴⁰, ловишь себя на мысли: *déjà vu*. Темы и времена, казалось бы, разные, а приемы те же, включая передергивание цитат и мелочные придирки к указателям. И претензии те же: констатируя «тяжелый кризис российской истории науки», Чайковский стилизует себя под ее спасителя и предлагает создать новую систему обучения истории науки⁴¹. Соглашусь: кризис действительно есть, в том числе и в подготовке историков науки, и Чайковский самый наглядный тому пример. Можно даже сказать, что он (и мы вместе с ним) есть жертва того маргинального положения, в котором оказалась наша история науки и которое позволяет кому угодно писать о чем угодно и как угодно.

P.S. Библиография к статье Чайковского содержит минимум семь ошибок. В заглавии статьи С.Н. Муравьева пропущено слово «Гераклита», Мосхаммер потерял одну *m*, в слове *Bruchstücke* нет *ü*, а в слове *médecine* – *é*. Особенно не повезло № 22, который Чайковский списал из моей последней книги: *Britten* стал *Britton*’ом, *den* превратилось в *der*, а издатель тома куда-то исчез. Куда исчез А.А. Гурштейн, редактировавший книгу Б. Ван дер Вардена о греческой астрономии (№ 2), я уже не спрашиваю.

³⁸ Чайковский. Книги Л.Я. Жмудя... С. 183, 195–196.

³⁹ Чайковский Ю.В. О классиках и комментаторах // ВИЕТ. 1992. № 2. С. 137–146.

⁴⁰ Колчинский Э.И., Лебедев Д.В., Полянский Ю.И. История эволюционной биологии в королевстве живых зеркал // ВИЕТ. 1993. № 2. С. 160–168.

⁴¹ Чайковский. О классиках... С. 146.

ЗЕМЛЯ МАВЗОЛЕЙ*

О названии.

Что вспоминается? Вспоминается стихотворение «Его зарыли в шар земной...» (1944 год) поэта-фронтовика Сергея Орлова, танкиста, едва не сгоревшего в своем танке и так и оставшегося с обожженным лицом. Я помню это лицо...

Почему именно это стихотворение вспомнилось, накоротко замкнувшись с названием того, что сейчас сочиняется?

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолеей Земля –
На миллион веков.
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолеей...

Земля мавзолеей сделалась памятником простому солдату, без званий и наград. Земля в юпитерах Млечных Путей. А он – *Председатель Земного Шара*. По-хлебниковски. Только уже – его сердцевина. Потому что не над ним, а в нем. И безмолвен – в громе громов, в разбеге ветров. А он тих. И ему памятник – Земля мавзолеей. А он – душа Земли.

Но памятник ли, если вся Земля есть этот памятник? Если вся, то какая же она памятник, если нет при таком повороте дела *не* памятников, потому что вся она – памятник? Может быть, она один из памятников во Вселенной? Быть может, если только предположить человекообитаемой не только нашу Землю, но еще какие-нибудь небесные тела. Хотелось бы... Но с доказательствами пока не густо. И тогда Земля мавзолеей этой своей тотальной мавзолеейностью снимает идею памятника и вновь становится живой Землей, предоставляя свои сферические сегменты для частных памятников в поучальное назидание нам и тем, кто будет после нас, в честь событий и тех, кому мы этими событиями обязаны, потому что они – ожогами в нашей забывчивой памяти.

Но Земля сотворена не нами. И потому Земля как «памятник» (теперь уже в основательных кавычках) не рукотворна. И потому не в честь кого бы то ни было. В том числе и этого бедного парня.

Но в поэзии возможно все. И такое тоже.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 04-03-00215а) и РФФИ (грант № 04-06-80233а)

* * *

Но... вспомнилось Горациево. Или – ближе – Державинско-Пушкинское. Или, еще точнее, просто Пушкинское: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...» Но... *воздвиг*. Ни потрогать, ни припасть, ни положить цветы, ни встретиться с любимой. Только слушать, нашептывать, наборматывать... «Шататься по городу и репетировать» (а это уже *Пастернак*). Но зато и не снести, чтобы потом «восстанавливать».

Носить в себе памятник? Непосильно. Ведь *monumentum*, который *exegi*, тяжел и гранитен. Железен и меден. Бронзов...

Еще одна закраина, выходящая за самое идею памятника как статуарного топоса – на века...

Всеместный дух, внепредметно витающий. *Vитать*... Не от слова ли *vita* (жизнь), которая сущностно противостоит о-каменению, о-чугунению, о-деревенению?.. Зато жизнь эта означена местом, фиксирующим (= останавливающим) время.

Но... произнесено: место (пространство как ограниченный – о-гранитенный – фокус-топос) и время (хронос *от* и *до*). А если сложить, совместив, то получится *хронотоп* (концепт *Бахтина*). И потому памятник – *хронотоп* и есть. Речь, стало быть, идет о монументе, то есть о памятнике, зафиксированном в определенном месте пространства и воздвигнутом как память о событии когда-то произошедшем, причем значительном и важном событии. И если не для всех, то для многих. И пусть даже не для многих, а только для какой-нибудь определенной социальной или политической общности. На память!

А память прихотлива, избирательна. Но всегда тут как тут. И... мнемозийна, забывчива. Потому и зыблется памятник, мреет, двоится-троится. Вечереет и средь бела дня, истаивая...

Александр Блок:

Вот зачем в тени заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

То есть *Пушкинскому дому*... Какому-такому? Отчего-почему? И, главное, зачем? Надо припомнить: во имя и в честь...

Хронотоп-то хронотоп. Но в *топике припоминания*. Но и на будущее тоже. А что там, в будущем? Никто толком и не знает. Оно утопично. И потому будет ли у этого памятника тот же топос или вообще какой-нибудь топос – неизвестно. Сие лишь предвидится – так или эдак. И потому хоть и хронотоп, но в *утопическом предвидении*.

Во имя и в честь! Но по велению немногих, а для прочих – не спросаясь и даже не посоветовавшись.

Но – помните! Причем не только *здесь и сейчас*, но – всегда! И от этого становится кое-кому (а может быть, многим) не только не по себе, но в *минуты роковые* противно.

А пока в миге настоящего свершились прошедшие и будущие времена, как бы упразднившие настоящее с перспективой стать *пустым местом*. Зыбкое прошедшее и неясное будущее, сойдясь в сей миг и в сем месте, способствуют превращению черного чугуна в чугун-альбинос, черного мрамора в мрамор-альбинос, а эбе-

новое дерево чтобы стало тоже белоствольно-альбиносным, березово шелестящим, легковейно просквоженным. Узором на песке, снежной крепостью на солнце, солнечным зайчиком...

Избирательность и прихотливость памяти о прошедшем и мёртости будущего – все это исконно человеческое *memento mori* памятника как пространственно-временного знака, навсегда отметившего *это* место, в котором сбылись исторический и личный пути.

Но так ли уж пустеет это место в точке *настоящего*? Пустея, оно же и полнится действительно свершившимися и вызволенными памятью событиями прошедшего. Но и загадами на будущее, ставшими *мечтой*. А мечта, как известно, всегда более реальна, чем то, что сегодня. Потому что только мечтой и живут, чем и заполняют пустеющее *сейчас*.

Таким образом, сей миг *на данный момент вечности* есть со-бытие прошедшего и будущего, но и не-бытие того и другого в их ускользающей неопределенности.

Ставшее и потому должное перестать; становящееся и потому должное стать. Вечно гамлетовское *быть или не быть*, где реальнее всего это самое живо трепещущее *или...*

Войти в чистый *хронос*. Или, напротив, стать вневременным *топосом*. Коллапс пространства – коллапс времени. Или так: саморазрушение памятника, освобождающего место для другого памятника, потому что *свято место...* и т. д. Пустое место, мучающееся фантомной болью по ампутированному телу – памятнику в его пространственно-временной континуально-статуарной живости и свершенности.

Совершенности.

* * *

А теперь о том, как это все бывает в исторических и личных бытованиях.

Собор (храмина памяти).

Место такого памятника, как, впрочем, и любого другого, – топологически закреплено. Но место это в силу сакральности объекта делается тоже сакральным и потому причастно не столько к времени, сколько к вечности, и указывает вверх – на небо, выше неба, на невидимое и запредельное. На пустоту, чреватую *всем*. На божественное, отсылающее вниз. А коли так, то и низ тоже по высшему счету пуст (сегодня там новый храм Христа Спасителя, вчера бассейн «Москва» – подобие (?) Андрей-Платоновского «Котлована», позавчера Алексеевский монастырь). А мог материализоваться, если бы сложилось, один из авангардных проектов Дворца Советов, увенчанного Лениным, устремленным в небо, как крест на куполе Храма.

А место оставалось бы священным, несмотря на длинную череду возведений и сносов, сносов и возведений. При этом каждое такое возведение – на только что опустыненном месте. Но в топике апофатического припоминания (= забвения) и проективного предчувствия (= утопического предвидения). Пустота, чреватая *Всем*. Но и *Все*, чреватое пустотою. Избывание тела в душу. Души в Дух, начинающий творение.

* * *

Некрополь (домины памяти).

Кладбища, мемориалы... Памятные сооружения указывают вниз. Под землю. И тоже в область невидимого. Метафизика инобытийного (= небытийного).

Памятник Неизвестному солдату (в Александровском саду), Алёша на Шипке.

Из камня его гимнастерка,
Из камня его сапоги...

Или стела с именами революционеров многоразличных толков у входа в тот же Александровский. (Виртуальный мемориал в честь тех, кто *из искры пламя.*)

Метафизическое... Но чем метафизичней, тем социальной.

Прибавлю к этому памятник Дзержинскому на Лубянке, который был снесен в 1991 году разгоряченной демократически неуправляемой толпой... А толку чуть. Потому что снесенный Феликс Эдмундович, освободив постоянное место, тут же клонировался десятками, если не сотнями, фотографий, теперь уже действительно иконообразно отметивших самими собою *красные углы* лубянских кабинетов – надолго, по-феликсовски железно.

Но все это групповые дела. Потому что когда так, а когда эдак. Позавчера здесь стоял Александр III, вчера Дзержинский, сегодня Николай II, а завтра, может быть, вся династия Романовых работы Клыкова, к примеру... Или – как весть из будущего – «Птица-тройка». Виртуальная, компьютерно-графическая заставка к РТРовским вестям.

– Куда летишь ты, птица-тройка?

– К *** матери лечу...

Наум Коржавин

Утопическое предвидение редчайше точно совпало с настоящим, которое, в свою очередь, вспомнило прошедшее, *гоголевское*. Пустое настоящее исполнилось метафорической наглядностью *птицы-тройки* Коржавина – Гоголя. Виртуальный памятник на пустом месте. Дважды пустой или дважды содержательный этот памятник?..

А вот и безымянные, может быть, бывшие когда-то именными мемориалы, а ныне ушедшие в естественные ландшафты. Ставшие холмами *Земли*. Или барашками волнующейся воды. Или пеплами *Огня*, развеянные на *Воздухах* ветров по-над *Водою*. *Курганы*. Это: «Развейте мой прах на полях курских сражений» (*Константин Симонов*). Или просто:

И ни папа, ни мама
На могилку не придет.
Только раннюю весною
Соловей пропоет.

Будущее. Но со стороны и сверху. Воображаемое, а душу леденит... Или вовсе безымянные захоронения сталинских умертвий... И бесчисленные, не преданные до сих пор земле, человеческие останки лихих лет войны... «На безымянной высоте». Высоте-пустоте. Растворение в стихиях изначально, из которых можно заново творить. А сотворив, запечатлевать сотворенное в памяти, материализуя память в тяжести памятников.

* * *

И вновь слово поэта. Это великие стихи Шекспировой силы «Враги сожгли родную хату...» Михаила Исаковского. Выборочно процитирую:

...Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
...И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
...Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
...И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Серый камень гробовой, может быть, и не Прасковьяин вовсе, стал именным на какое-то недолгое время.

Солдат, освободитель Будапешта, поставил на этот камень бутылку горькую. Личный *хронос* и личный *топос* горькой памяти. *Хронотоп*, чтобы по свершении поминовения снова стать пустой поверхностью камня. Только в душе и сердце останется эта личная память.

Солдат с медалью за чужую свободу и солдат без званий и наград, зарытый в шар земной, поэтически сошлись... в беспмятной пустоте: в глобальной памятникности нерукотворного земного шара, отрицающей своей глобальностью самое идею памятника как личного свидетельства личной памяти и брэнной кратковременности горькой бутылки, поставленной на нерукотворный же серый камень...

Пустота, томящаяся восполниться человечески памятливым, памятно творческим жестом. Душевным жестом... В *только* человеческой нерукотворности поэта. Пушкинской нерукотворности... Потому что только нерукотворное – неиспелимо.

* * *

Но – к Пушкину...

«Кумир на бронзовом коне... по потрясенной мостовой». «Ужо тебе!» – говорит бедный маленький петербуржец фальконетовскому Петру. И это по-человечески можно понять.

А он себе и поныне стоит. Что же он такое есть в медно-каменной своей натуре?..

Памятник Петру I Фальконе. Строительство начато в 1768 году. А открыли памятник в 1782: 11 тысяч свай и змея в кургане. А Исаакиевского собора еще нет. Пустое место вокруг монумента застраивается медленно. Хронос словно осторожничает, как бы позволяя пустому топосу подольше сладостно потомиться в надежде восстать «тяжестью недоброй». Лет 150 спустя Мандельштам скажет: «Твой град Петрополь умирает», помня про им же сказанную «недобрую тяжесть» в стихотворении «Notre Dame» (1912 год). А Исаакий гением О. Монферана вглядывается (с 1858 года – весь внимание): всадник Петр походя наступил на змею, но на ней же, странным образом, и держится. Пьедестал – гранит (*Петр* – камень). Опора... Но для того, чтобы камню быть опорой, нужна змея, а на змею надо наступить. Все зыбко, непрочно. Болотная гадина, а камень крепок, а Петрополь на болотах. Устоит – не устоит?.. Не потому ли «Твой град Петрополь умирает»?

А вот иной Петр, и времена иные. Михаил Шемякин, 1991, бронза. Установлен в Петропавловской крепости. Сделан по прижизненной маске 1719 года.

освобожденное памятником, и есть памятник самотворящийся – самоисчезающий. Для новых со-творений с теми, кто в его круге. При начале новых замыслов.

Не потому ли Маяковский так завершает свою анти-памятниковую апологию об ожившем – теперь уже навсегда живом? – памятнике, внимательно слушающем родственную душу?

Мне бы
 памятник при жизни
 полагается по чину.
Заложил бы
 динамиту
 – ну-ка,
 дрызнь!
Ненавижу
 всяческую мертвечину!
Обожаю
 всяческую жизнь!

Обратите внимание: если памятник – мертвечина, то мертвечина (= памятник) при жизни мертвит эту жизнь. И значит тот, чья это жизнь, тоже скорее мертвый, чем живой. И тогда «единственный выход – взорвать» этот памятник при жизни. Тогда же сделается возможной жизнь в ее взыгрании заново на пустом пьедестале. Твоя – наново зачинающаяся – жизнь. Твоя! И никакая не общая.

Нет, *весь* (курсив мой. – В.Р.) я не умру!

Но у Маяковского же читаем радикально иное:

Пускай нам
общим памятником будет
 построенный
 в боях
 социализм.

Социализм – общий памятник всем, его построившим. Общий при жизни всех тех... А раз памятник, то уже только поэтому – мертвым, умертвившим и жизни каждого и всех вместе этим самым социализмом, тоже достаточно мертвым, хотя и впервые построенным. Так ли? Выходит, что так. Что и выяснилось в исторически близкой перспективе. Иная, не живородящая пустота памятника коллективному безлюдью. Пустота бесплодного пустыря.

Но оживить памятник, разморозить его может не только творчество в своих изначальных начинаниях. Может это сделать и просто любовь – разгорячить чугун, согреть камень, придать нежности медным литерам, снежинки на мраморных веках растопить в живые слезы, казалось бы, высохшие навсегда и проступившие соленой изморозью на сером камне или на черном в ржавых коростах чугуна... Это я о «Памятнике» Ярослава Смелякова (1964 год):

Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.
Рука моя трудна мне и темна,
И сердце у меня из чугуна.
В сознании, как в ящике, подряд
Чугунные метафоры лежат.
И я слежу за чередой дней
Из-под чугунных сдвинутых бровей.

Пропущу все, что вокруг, и сразу перейду к делу:

Когда взойдет над городом звезда,
Однажды ночью ты придешь сюда.

.....
Как поздний свет из темного окна,
Я на тебя гляжу из чугуна.

.....
Приблизюсь прямо к счастью своему,
Рукой чугунной тихо обниму.
На выпуклые грозные глаза
Вдруг набежит чугунная слеза.
И ты услышишь в парке под Москвой
Чугунный голос, нежный голос мой.

Чугунный голос сделался нежным. И памятника как не было. И пьедестала тоже. А просто городской садочек. И он в нем. Влюбленный в своей тиховойней, во все не чугунной печали в синеглазую ее. И метафоры уже не чугунные, и даже не метафоры вовсе. А все как есть: взаправду, глаза в глаза. Чугунное *зиянье* – в солнечно-лунное *сиянье*. Она пришла. И он сошел со своего пьедестала. Подобрело сердце. И рука ожила обнять...

Я люблю Вас,
но живого,
а не мумию.

Это снова Маяковский, недолюбливающий мумий и очугуненных жмуриков.

Любовь – дело творческое, стихотворческое. Хотя и не метафорическое. Наивное. Простодушное и доверчивое...

Перворечь любви меж нечленораздельем и членораздельем сбивчивой от первого чувства речи. Перворечь речи. Футуристическая речь, объясняющаяся в любви к слову о только что рожденном мироздании. Беспьедестально. Безмонументно. Потому что в любвеобилии словолюбия... Но при этом слово – *свое*, любовь – *своя*. Они-то и есть лично сработанные образы, свидетельствующие личное прошлое и личное будущее. Образы личной памяти и личной мечты. А коллективного творчества не бывает. Есть лишь идеократические задания. И большинство памятников – из этого ряда. Им-то и предстоит быть снесенными.

И только памятники Чижику-пыжику в Петербурге, Русалочке в Копенгагене, Рабиновичу в Одессе – счастливые исключения. Их можно украсть, а разрушить нельзя. И все нерукотворное тоже неуничтожимо. Речь о первослове в его дословности и выдохнутости из гула до-слова. Будетляне-баячи при сем были. И не только были, но и делали сие. И пели *свои* слова. Творимые, но и творящие в союзе с материями слов и их же артикуляциями.

Что и есть памятник при начале и никогда – при завершении.

Но... к про-из-ведениям, о которых скажу близко к тексту.

* * *

Как, например, следует именовать люстру, что «сорвалась и падает», то есть ее – люстру – в момент падения? Для поэта Крученых это не вопрос. Конечно же, быть ей *хлюстрой*. И ничем иным! Тысячей – вот-вот – светящихся звездочек. Не от *lux* и *astra* ли, живущих вместе в цельной люстре и поврозь в ней же, но только падаю-

щей? Упавшей. Распавшейся – в хрясть – на вспыхнувшие хрустальным фейерверком мельчайшие дребезги. Чтобы из них вновь... Самый трогательно щемящий, несчастно ранимый вид творчества.

Памятник – нет памятника... Памятник вновь?... На пути. Вниз – вверх. Посредине...

Вот это самое *посередине* и есть футуристический памятник звукобуквовидам. Из гула – слово. А слово – вновь в гул. А после вновь к слову *in statu nascendi*. Памятник слову в момент его возникновения в предчувствии уничтожения – затем чтобы заново вновь.

Люстра – люкс-астра – хлюстра – хля-астра...

Звездапад – звездонад – звездождь – даждь нам днесь – взвесь света. На весь свет и всю тьму... Памятник светопре(д)ставлению начально-финальному.

Брызги шампанского...

Салют!

Слововерть – коловерть – взбутетень – светотень...

Светящиеся хлястики комет.

Звездометы – кругометы звездных млечностей.

Мадам, уже падают люстры.

Хлюстрами падают, а взлетают Люстрами.

Рабинович:

Не голосили, не стенали.
Лишь астры весело взлетали,
Как мотыльки на свет идут...
Родился – реквием сыграли,
А умер – песенки поют...

И вот уже где-то рядом Велимир 1912 года:

Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни.

Чтобы из дыхания умирающих коней – вновь живое. Может быть, новые (или те же) кони. Из суши увядающих трав – новые травы, если их живую водою; новые солнца, если возжечь их живым дыханием. А из предсмертных гулов – мелосов людей – новые мелосы-голоса слововидные. Звукобуквовидные Вселенные. Причем у каждого – своя. Живою точкою, восставшею до размеров Вселенной. И столько Вселенных, сколько поющих – пусть и перед смертью – людей. А поет каждый, даже если и не знает, что поет. *Не ведает, что творит.*

Но... творит!

Легкие времири...

Чистое *витание*. И каждое такое витание – памятник нерукотворный. Нерукотворный и потому несокрушимый. Точнее так: самосокрушимый – самовосстанавливающийся. Пульсар...

И того, кто так творит, не зарыть в шар земной. Потому что шаров земных много. Много вселенных. Каждый сам себе Земшар – Вселенная. И Хлебников тоже: он Председатель своего Земшара. Председатель сам себе – своему слову. Вольный

повелеть себе как слову, восстать из гула и вновь – гулом стать. Как Мандельштам Афродите:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись!

Но материализоваться – овеществиться *до смерти хочется* и тем самым жить во времени, а не в миге. В пространствах, а не в исчезающей, хоть и вселенски расширяющейся, точке. Точке-Вселенной. Многих точках-вселенных. Притом каждый хочет жить авторской, а не артельной (= соборной), жизнью.

Отсюда заветное футуристическое чаяние – хоть как-то остаться – воплощается в «самописную», «самопальную» книгу, сработанную хоть в целом и артельно, но все-таки лично-индивидуально в каждом из книжных умений. Книгу, в каждом своем книжном зачинании возвращающую читателя к началу каждого из этих умений: печатный текст к его рукописности; почерк к прочерку, в котором таится смятение и трепет души переписчика. В сбивчивости дыхания между выдохом и вдохом (в паузе молчи); в со-че(чи)тании почерком исчерченных листов и листов чистых; в сшибках складывающихся текстов и рисунков, сложенных из клиньев – иероглифов-углов-остриев наскально-наивно-лучистских люкс-астровых изображений и тут же враздрыг и вдребезги на миллион, миллион, миллион *хлюстр*. Светозарно белых астр, алых роз и анютиных глазок.

Такой вот получается литературный памятник. Памятник как прапамять о практике и провидение звездно-личной Вселенной Internet в ее-его принципиальном бескнижии.

Памятник тому, кому памятником никогда не стать, но стать им очень хочется.

Меж *вещанием* и *вещью*. В плотности вещи и эфемерной зыбкости вещания (в гуле-слове, линии-мазке-пятне-кляксе...).

В точке – Вселенной. Неуничтожимо личной. Невыносимо личной.

При начале-конце...

Неостановимо-невосстановимо...

В пафосе нескончаемых начинаний... И – вслед за Окуджавой:

...Александр Сергеевич прогуливается.
Значит сегодня ... что-нибудь произойдет.

А вы говорите: «бросить Пушкина с парохода современности». Живого – нельзя, а мумию, или истукана, или кумира сотворенного – можно. А *прогуливающегося* нельзя...

Творящее и творимое мумифицированию не подлежит. Мавзолеефикации тоже. Даже если это *Земля мавзолеей*.

В этом сокрытый смысл, тайный умысел памятника. Его идея. Памятник в своей монументности обязан умереть. Он должен быть снесен теми, кого он раздражает. С кем не посоветовались – ставить его или не ставить. А просто поставили, чтобы ублажить идеократические упования постановщиков – установщиков-кумиров – идолов и прочих *вечно живых*. А вот «Шопен не ищет выгод» (*Пастернак*). Как, впрочем, и Пушкин: он сам себе *памятник*, но... нерукотворный на все времена. Вне *топики припоминания* и вне *утопического предвидения*.

Но образ памятника *per se* в его незыблемой статуарности. Как египетская пирамида, он – память на будущее. И тогда памятник – хронотоп, живой лишь в топике припоминания и утопического предвидения. Он – артефакт, свидетельствующий купно *топос* и *хронос* в их двоящемся монолитном единстве, и потому вырван из

свободного движения исторического времени. В этом смысле памятник – *memento mori* русского футуризма как культуры нескончаемых начинаний, существующих в поле артеактов. Контексты припоминания и предвидения, может быть, восстаноят Большое время и Большое пространство, в которых только и возможна жизнь авангарда (= русского футуризма) как Большого стиля эпохи, ежемгновенно взрывающего мертвящую идеологичность памятника ради арте-актного, то есть художественного *par excellence*, его (памятника) замышления, и лишь потому оправдывающего его артефактность. Слово творимое и творящее вместе, чтобы вновь раствориться в гулах. Слово вместе со своим создателем-погубителем и есть памятник авангарду и авангардисту. Но теперь уже в своей незыблемой *не* статуарности. Даже если слово овеществлено в самописной, рукотворной книге. Так сказать, литпамятнике. Но и этот памятник – *cum grano salis*. И не только потому, что *лит-*.

Вот она – самописная и саморазрисованная книжица-леТатлиница в ес, на скорую руку, завершенности, *как бы* статуарности, но и незавершенной открытости всем сторонам художественной вселенной, простертой в пространства и времена – памятью и мечтой. И все же в точке-вселенной полнобытийственного – нескончаемого утопически-ухронического-настоящего. В синхронно-диахронном *ничто*, чреватом Всем. ЛеТатлиница-книжица Времирь в общинной дружественности *всех* – ради Лица *одного*. Раннего и несчастного, одинокого и былинного былинковича-травинковича на гулком ветру. С дисгармонией индивидуальных почерков, штриховых лучиков, теней и просветов, пробелов и прогалов, просквоженных пустот, игольчатых разломов, жанрово-смысловых сдвигов. Записка на манжете и стихотворная нелепица, карандашный рисунок и штриховой абрис, сплюснутый овал кривого лица и черновик черновика случайного – на память – наброска, живописная клякса и перебеленная – неизвестно зачем – рукопись, неповторимый почерк скриптора (переписчика) и бесстрастный, оттиснутый наборными штампами текст, безликая ундервудовская машинопись... И все это – жизнь Лица, проступающего из коллективной жизни такой вот «литпамятниковой» книжицы, герой и автор которой – Лицо в круге личностей, изымающих собственную индивидуальность ради недостижимого-непостижимого Лица в виду будущей гармонии новой цивилизации, должной восстать над хаотической сутеменью книжно-житейского естества.

Не интернетовская ли это Вселенная в ее лично-всеобщей звездной точечности?

«Акт чтения как жизненный акт» (*Мераб Мамардашвили*). Книгосложение как жизнеложение. Вечно длящееся настоящее – начинающееся. Зачинающееся. Не есть ли это сущностное свойство футуристической самописно-самовитой книги, всегда свидетельствующей о само-делании – о вечной своей «неизданности», начальности? (Ничего себе памятник, пускай даже и *лит-*!)

Новое? Никогда раньше не бывшее? *Почти* верно. Если бы не память о прошлом. Если бы не загад на будущее. А это уже модальности и пафосы памятника.

Но сперва – в *как бы* прошлое авангардизма – футуризма. И оно – на глаз и ухо (на ухоглаз) – уже легло: вещь как способ ее делания, со-чи(че)-тания, писания слов из букв как сложения архитектурных ансамблей из готических построек – всею артелью вольных каменщиков – скрипторов. Но и – как способ разрушения слова: до букв, буквозвуков, звукобуквовидов. Для взыграния новых Вселенных. Населенных и заселяемых своим добром. Собою. Будуще-прошедшим. И только потому сиюминутно, ежемгновенно *настоящим*. Настоящим как *нате вот!* И настоящим как подлинным. Таким подлинным, что подлинней не бывает. Подлинно новым.

Но это новое – всегда начало. Первоначальное. Новоначальное...

* * *

Земля мавзолеей? Нонсенс *чистой красоты* пустого места. А на этой земле – всё на свете: сносят памятники; как это принято, никого об этом не спрашивая, восстанавливают их вновь; новодельничают, строят новые. И вновь за старое: сносить и строить, строить и сносить... Мавзолеейничают и бармалейничают.

А кони умирают и дышат.
А травы умирают и ... сохнут.
А солнца умирают и...гаснут.
А люди умирают и... поют песни.

И песни эти «не задушишь – не убьешь», потому что они нерукотворны.

«И дышит почва и судьба»

(Пастернак).

Они – почва и судьба – и есть *пустое место* для всяческих будущих памятников. А самое это пустое место есть наисовершеннейший памятник памятников в его невозможной возможности *не быть – быть – не быть...*

А теперь – под конец – два стихотворения, пригодных в дело (если только можно назвать наше слово каким-никаким, но все-таки делом).

Межиров:

Вы, хамы, обезглавив храмы
Своей же собственной страны,
Вступили в общество охраны
Великорусской старины.

Евгений Блажеевский:

Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я наконец-то разгадал секрет, –
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.

* * *

Что же в итоге?

Памятник как возможность памятника.

Книга как возможность книги.

Человек как его возможность.

Жизнь как возможность жизни.

Такой вот, понимаешь, мавзолеей получился.

В.Л. Рабинович и кризис технологий увековечения

Русский футуризм (а разве бывает какой-то еще?), понятый философски, связан с алхимией и книгочейством столь же прочными невидимыми узами, как и естествознание с техникой. Памятник не может рассматриваться как средство увековечения до тех пор, пока он привязан к пьедесталу, неподвижен и безволен. Только

«прогуливаясь», покидая положенное ему место или построенное скульптором тело, он может рассчитывать на обладание вечностью. Наш юбиляр Вадим Львович Рабинович всегда грешил размышлениями о вечности, но, приблизившись к своему 70-летию, понял, что если и не удастся поменять прошлое и будущее местами, то надо постараться хотя бы склеить их одно с другим. Его подрыв символики вечного покоя настолько фундаментален, что Земля-мавзолей как памятник была бы обречена быть снесенной, если бы ей действительно было суждено покоиться вечно в центре Вселенной. Движение хотя и не гарантирует вечности, но обещает надежду.

Мы знаем, что в длинном послужном списке Вадима Львовича Институт истории естествознания и техники занял почетное место. Несмотря на то, что это – место всего лишь одного из институтов, через которые он прошел или которые пропустил через себя. Пропустил, чтобы вобрать нечто важное и нечто важное дать нашей науке. И хотя он давно уже занимается историей будущего, деконструируя несвершившиеся события, мы его ценим и любим не только как милого безобразника и творца непонятных текстов (как виртуально научных, так и откровенно поэтических), но и как коллегу, картинно расширяющего горизонт историко-научного исследования по вертикали. Мы радуемся за нашего коллегу в день его юбилея и присовокупляем к поздравлениям и пожеланиям слова благодарности за его неутомимость, парадоксальность и радость, которую мы испытываем, встречаясь с его творчеством.

Редколлегия